

18+

Наталья Драган
**На всю
оставшуюся
жизнь**

Осень отменить нельзя

Наталья Драган
На всю оставшуюся жизнь.
Осень отменить нельзя

*http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=73783983
ISBN 9785006956056*

Аннотация

Горькие и смешные, беспощадные и милосердные – эти истории не оставят равнодушным никого. Потому что каждый из нас когда-нибудь окажется перед выбором: отвернуться – или увидеть в старом, больном, некрасивом человеке ту самую девушку в белом сарафане, стоящую у кромки прибора. Того самого парня с гитарой. Того, кого когда-то любили больше жизни.

Содержание

Теплое слово	5
Опасные стремления	19
Вышивальщица-шептунья	40
Осень отменить нельзя	74
Конец ознакомительного фрагмента.	81

На всю оставшуюся жизнь Осень отменить нельзя

Наталья Драган

Посвящается моей семье

Редактор Наталья Ивановна Лапина

© Наталья Драган, 2026

ISBN 978-5-0069-5605-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Теплое слово

Этот последний номер мы сдали на удивление рано. Выборы закончились, ни один материал не «слетел», лихорадочных рокировок полос и заголовков в последние минуты не случилось. Передовицу сверстали еще накануне, реклама сдалась вовремя, анонсы следующего выпуска сделали быстро. Отличный номер получился – легкий, живой! Редакция быстро пустела: журналисты, дизайнеры, стажеры разлетались, как мотыльки, в предвкушении выходных. Сделав последние правки, я подписала номер в печать, убрала со стола нетронутый чай – остывший, подернутый радужной пленкой, – и вышла наконец на воздух. В весну.

От ударившей в лицо весенней свежести закружилась голова. Столько запахов вихрем кружились вокруг, мешая сосредоточиться. Глаза заслезились, подкатила тошнота. Стою на проходной, глотаю воздух открытым ртом, громко дышу, пытаюсь отогнать дурноту. В последний раз такое со мной было много лет назад – когда я носила под сердцем сына.

– Уж не ждет ли бабушку радостная весть! – сказала я вслух и, заметив, что охранник наострил уши, зашагала к дому.

Не помню, почему я решила идти пешком и как оказалась

за два квартала от редакции. Словно шла во сне. Или с закрытыми глазами. Очнувшись, поняла, что нахожусь в совершенно незнакомом месте. Откуда-то взялись высоченные пирамидальные тополя, назойливо пахнущие свежей лакированной листвой, какие-то серые коробки пятиэтажек, которых в этом районе быть не могло и отродясь не было. Слышались отдаленные неразборчивые голоса людей, но я почему-то не могла их разглядеть, как ни озиралась по сторонам. Остановившись у колючего засохшего куста, я кружилась, пытаюсь понять, где нахожусь, вглядывалась, искала таблички на домах, чтобы прочесть название улицы, номер дома, но вместо этого натыкалась на новые кусты, деревья и незнакомые здания без опознавательных знаков. С рекламных щитов, нависающих над тротуаром, как великаны, тарачились улыбающиеся лица, похожие на манекены, но текст почему-то оказался нечитаемым.

– Что за шрифт выбрал этот бездарный дизайнер? – думала я возмущенно. – Это же совершенно невозможно прочесть! Надо пересмотреть нашу рекламу в газете, может, и я что-то упускаю?

Я бродила и бродила по пустынному району, пока от бессилия и усталости не разрыдалась. Опустилась на корточки, оперлась спиной о ствол дерева, скинула туфли с ненавистными каблучками и плакала. Как в детстве – навзрыд, от ужаса, что никогда не выберусь отсюда. Всхлипывая и размазывая остатки косметики по лицу, я вспомнила о платке, от-

крыла сумочку и наткнулась на телефон.

– Вот дуручка, – сказала я себе вслух. – Надо же позвонить Сереже, он меня заберет.

Обрадованная, прижала телефон к груди, силясь вспомнить, как записан муж. Вертела, вертела погасший прямоугольник в руках, пыталась включить – и ничего. Слезы снова потекли по щекам, смывая последние остатки надежды. Сердце заполнила тупая безысходность. Сережа позвонил сам и, когда понял, что я не могу внятно ответить на его вопросы, велел не двигаться, с места не сходить и не сбрасывать звонок.

Когда он меня нашел, мне стало совсем плохо. Я не понимала, что он спрашивает и о чем говорит. Я не понимала, что этот человек – Сережа. Я узнала его, только когда он сгреб меня в охапку и долго гладил по волосам, успокаивая. Услышала, как бьется его сердце, потом почувствовала свое, а затем словно пелена спала – и я увидела, что нахожусь не посреди незнакомого района, а сижу босиком на заброшенной стройке, в грязи, опершись о строительные леса. Перепуганный Сережа стоял на коленях и целовал мое зареванное лицо.

Лечение после микроинсульта и долгое восстановление не позволили мне больше вернуться в редакцию. С любимой профессией пришлось расстаться.

Началась страшная реабилитация. Наивно полагая, что деменция – удел старости, я поняла, что ошибалась, испытав на себе все ее «прелести». Я не чувствовала, как память, слова, образы ускользают от меня, я их просто теряла. Я теряла знания, теряла свою жизнь. Я больше не знала, как включить газ, а включив, забывала его отключить, доставляя семье немало проблем.

В один из таких дней, проводив мужа на работу, я долго стояла посреди кухни, где почему-то ничем не пахло. Как давно я не пекла пирогов? А умела ли? Ну да, по выходным мы ели пироги. А блины? Я помню, сынок любил в детстве блины со сгущенкой. Мне захотелось чаю. И блинов со сгущенкой. Я решила непременно сегодня что-нибудь приготовить к вечеру. Мама же дома.

В руках у меня был предмет. Тяжелый, с одной стороны – носик, с другой – ручка, сверху – крышечка с деревянной пуговкой. Я смотрела на него и чувствовала, как в голове нарастает вакуум. Я знала, что это такое. Я пользовалась этим каждый день. Утром. Вечером. Тысячу раз. Но слово – конкретное слово, которым это называется, – ускользнуло. Спряталось в туман.

– Чайник, – прошептала я. – Ну же, Наташа, это же чайник.

Слово отозвалось эхом, но не приклеилось к предмету. Оно повисло в воздухе отдельно, а предмет в руках отдельно. Между ними не было связи.

Я перевела взгляд на окно. Огромный тополь ветками почти доставал до стекла, и шевелящиеся на ветру штуки шуршали, смеясь надо мной. Листья? Листья. Это листья. Я помню. Я посмотрела на свои ноги. На них были надеты... эти... шерстяные, теплые, с резинками. Носки. Носки, конечно. Слово пришло. А для предмета в руках – не пришло.

Паника поднималась медленно, как вода в ванной, когда забываешь закрыть кран. Сначала по щиколотку, потом по колено, потом до пояса. Я сжимала этот проклятый белый предмет с носиком и силилась вспомнить. Чайник. Ну пожалуйста! Я же образованный человек, главный редактор, я правила чужие тексты, я знала значение слов «метафора» и «инверсия», я могла отличить футуризм от акмеизма, а сейчас стою и не могу вспомнить, как называется штука, в которой кипятят воду!

Я швырнула его на пол. Металл грохнул, крышка отлетела, по линолеуму растеклась лужица – внутри была вода. Я же хотела его включить, да, я хотела включить... газ... плиту... Но зачем вода, если я хотела газ? Или я хотела чай?

Отлетевшая крышка разбила чайную чашку с блюдцем. Я смахнула осколки со стола, опустилась на колени и завывала. Потому что внутри меня не было слов. Была только боль и белая шумящая пустота, в которой тонули все звуки.

В комнату вбежал Сережа. Он отпросился с работы, чтобы отвезти меня к врачу. Увидел меня на полу, осколки, воду. Опустился рядом, обнял, прижал к себе.

– Тише, тише, Наташа, что случилось? Что случилось, родная?

– Я забыла, как называется чайник. Я схожу с ума, Сережа, забери меня отсюда, я боюсь, мне страшно, помоги мне, пожалуйста, помоги. – все это я хотела сказать ему. Но слова умерли по дороге.

Я ткнула пальцем в валяющийся на боку предмет с носиком – я знаю, что это, но не могу сказать, слово потерялось, оно упало в ту яму, куда падает все остальное.

– Чайник, – сказал он мне в макушку тихо, как ребенку. – Это чайник, Наташ. Ты хотела сказать «чайник».

– Чайник, – прошептала я ему в свитер, размазывая слюни и слезы. – Чайник. Чайник.

Я повторяла это слово раз двадцать, пока оно снова не стало моим. Пока предмет и звук не склеились обратно. Но где-то глубоко внутри уже треснуло что-то важное. Я знала, что завтра это повторится. С другим словом. С именем. С лицом.

Я забывала названия предметов. Из памяти стирались целые отрезки жизни и бытовые навыки. И я этого совершенно не осознавала. Со мной оставались только семья и постоянный страх. Ужас от того, что однажды я проснусь и забуду своих детей, маленького внука, которого мне не оставляют, опасаясь. Невыразимо горькое ожидание полного забвения. Неведомого и от этого еще более пугающего.

Максима я однажды забыла в коляске во дворе. Абсолютно забыла, что этот ребенок – мой внук. Что я вышла с ним посидеть на солнышке, пока дочка убирает квартиру. Максимка спал, я читала книгу. Потом потеряла нить прочитанного, полюбовалась красивым мальчиком в коляске – и спокойно ушла прогуляться в сквер. Совершенно забыв о ребенке. Брошенную во дворе коляску нашли соседи, Максимку отнесли маме, а меня искали по всему району. После того случая меня перестали оставлять одну. Но Сережа все равно уходил на работу. А вечером приходил, молчал, смотрел в телевизор, которого не видел, или сидел в компьютере до утра. Я спрашивала: «Сереж, ты чего?» Он отвечал: «Устал». Я верила. Я всегда ему верила.

А потом он перестал приходиться вечером. И однажды не пришел совсем.

Два года полного контроля над жизнью, бытом и терапии принесли плоды. Моя семья совершила невозможное. Мне стало легче. Я перестала теряться в квартире и на улице. Мне казалось, что я пришла в норму, пора работать, становиться социальным человеком, выползть из болезни, проблем, ракушки страха. Главное – определиться, кем я теперь могу работать? О возвращении в редакцию не могло быть и речи, куда я теперь такая: хорош редактор, теряющий буквы в словах, смысл во фразах и не видящий знаков препинания.

Взяли меня библиотекарем в дом престарелых с условием, что буду курировать их сайт. Смешно сейчас вспоминать, как я возмущалась в кабинете директора, прикрываясь диагнозом, доказывая, что не смогу написать ни строчки.

– Вы поймите, если у меня в трудовой значится, что всю жизнь работала главным редактором, это не значит, что я теперь что-то могу. А если бы я прежде работала уборщицей, вы бы меня и полы заставили мыть в библиотеке?

Если бы он знал, как я ему теперь благодарна! За каждую его попытку заставить меня работать с ненавистными, непонятными текстами. За каждое его молчаливое и терпеливое прочтение написанного, казавшегося мне сносным, а на деле оказывавшегося абракадаброй.

Столько мучительных попыток я предпринимала, составляя из непослушных слов предложения, наполненные смыслом. Тут не до витиеватости фраз и не до изящных каталожных описаний. Нужно было снова подружиться с письменной речью.

Приношу ему вымученный текст, прочитанный, выверенный мной трижды, Андрей Михайлович прочтет и возвращает листок. А сам смотрит на меня и стучит пальцами по столу. Я ненавидела этот стук. Значит, все плохо. Все опять плохо. Смотрю и не могу прочесть ни единого слова. Половина букв не на своих местах. Как же я только что читала и видела слова правильными? Мозг играет со мной в свои игры.

Поднимаю на него глаза, а он кивает: «Иди пиши, не сда-

вайся».

Раньше, в редакции, у меня была доска почета. Неофициальная. Я вешала туда особо удачные заголовки и цитаты наших журналистов, которые меня восхищали. А теперь я сижу и смотрю на свои собственные каракули. В слове «кормила» у меня три буквы «м» подряд и ни одной «и». Смотрю на это и не понимаю, что это за зверь. Доска почета моей жизни теперь выглядит иначе.

Я ненавидела директора в тот момент. Ненавидела за эту жестокую надежду, которую он во мне поддерживал. За то, что заставлял снова и снова садиться за стол, брать ручку и мучительно складывать буквы в слова, а слова – в предложения, которые рассыпались при первом же прочтении.

Но он был упрямее меня.

В тот день я сидела в библиотеке одна. За окном валил снег – первый в том году. Я смотрела на него и думала о Николае Степановиче. Он умер весной, я тогда только пришла работать. Высокий, сухой старик с орденскими планками на пиджаке. Он никогда не жаловался, всегда говорил: «Мне, дочка, самую малость надо – чтобы газеты свежие приносили». Я приносила. Он читал от корки до корки, потом аккуратно складывал и убирал в тумбочку.

Перед смертью он позвал меня. Долго смотрел, будто вспоминал что-то, потом сказал:

– Вы, Наташа, газету делали. Хорошую. Я ваши передовицы всегда узнавал. У вас слово теплое было. Даже про войну – теплое.

Я тогда расплакалась. Не от благодарности – от стыда. Потому что не помнила уже ни одной своей передовицы. Ни строчки.

В тот снежный вечер я открыла его личное дело. Читала сухие строчки: год рождения, образование, место работы, награды. И вдруг увидела его лицо. Не на фотографии – перед глазами. Как он сидит в кресле, как разворачивает газету, как шевелит губами, читая про себя. Как говорит: «У вас слово теплое».

Я взяла ручку. Обычную, синюю, с колпачком, который вечно теряется. И написала:

«Николай Степанович любил газеты. Он говорил, что в них живет правда. Когда я приносила ему свежий номер, он всегда благодарил так, будто я не газету ему принесла, а подарок. Он читал почти до последнего дня, потому что без правды нельзя. Даже если тебе девяносто лет и война снится каждую ночь».

Я отложила ручку. Перечитала. Раз, другой, третий.

Буквы стояли на своих местах. Все до одной. Запятые там где надо. Точка в конце – круглая, жирная, правильная.

Я зажала рот рукой, чтобы не закричать. Ура! Я больше не теряю. Я возвращаюсь.

Я написала предложение. Связное, правильное, живое. Я

снова стала собой.

Потом испугалась. Вдруг это случайность. Просто повезло. А завтра снова получится только абракадабра.

Директор, увидев на столе мою записку, принес стопку папок. Пыльных, старых, перевязанных бечевкой.

– Архив личных дел, – сказал он. – За пятьдесят лет. Здесь люди. Настоящие. Если сможешь их оживить – никто не спросит, правильно ли ты ставишь запятые.

Меня перевели на другую должность и я познакомилась с ними со всеми.

Первое дело я открывала с опаской. Боялась, что слова снова разбегутся. Но они не разбежались. Они ждали.

Я читала сухие анкеты, описания жизни до интерната и представляла живых людей. Вот дело 1978 года. Анна Тимофеевна, поступила в шестьдесят пять, из них пятьдесят лет проработала на ткацкой фабрике. Графа «семейное положение»: «муж пропал без вести в 1943-м, детей нет». Сухо, казенно, официально. А я закрывала глаза и видела: молоденькая девчонка в платочке получает похоронку, потом идет на фабрику – и пятьдесят лет, день за днем, ткет, ткет, ткет, чтобы не думать. Чтобы не помнить. Чтобы просто жить.

Я написала о ней. О том, как в интернате отдавала свой хлеб голубям, потому что привыкла делиться, а делить было

не с кем. О том, как умерла тихо, во сне, сжимая в кулаке лоскуток зеленого ситца – такой же, как был на ней в день, когда она получила ту самую похоронку.

Я писала и чувствовала, как внутри тает лед. Как чужая боль вытесняет мою собственную. Как слова, которые я теряла, возвращаются – не мои, а их, но от этого не менее ценные.

Потом было дело 1995 года. Отставной военный, Иван Петрович, который в семьдесят пять лет заново научился читать. Закончил в детстве три класса, потом все забыл, расписывался крестиком. Представляете? Всю жизнь прожил с мыслью, что грамота – не для него, а на восьмом десятке взял букварь и за три месяца одолел первую книгу. Говорил: «Я на войне был, я знаю, что такое смерть. А тут про нее написано – и не страшно. Красиво даже».

Самое страшное дело оказалось самым свежим. Две тысячи десятый год. Женщина, моя ровесница, бывший бухгалтер. Диагноз – тот же, что у меня. Ее привезли дети, оставили и не приезжали два года. В личном деле лежала фотография: она с внучкой, на море, смеются. А в графе «родственники» – пусто. Ни телефонов, ни адресов. Просто вычеркнули.

Я смотрела на эту фотографию и думала: вот она, я. Если бы не моя семья – я бы тоже лежала сейчас в палате, смотрела в потолок и ждала, когда сотрутся последние буквы.

Я написала о ней. Не в личное дело – в свою тетрадь. На-

писала так, будто письмо себе из прошлого в будущее:

«Мы не виноваты, что с нами в прятки играет наш разум. Но мы виновны, если позволяем этой игре стереть в нас личность. Она, та женщина с фотографии, уже не помнит, как ее зовут. Но на снимке она счастлива. Значит, счастье было. Значит, оно вообще бывает. А если бывает – значит, можно и нужно жить дальше. Хотя бы ради того, чтобы однажды кто-то нашел твою фотографию и сказал: смотрите, она смеется, хотя у нее внутри уже тогда все рушилось. Значит, и мы можем».

Перечитала это и замерла. Потому что поняла: я написала это не про нее. Я написала это про себя.

Я сидела в архиве, перебирала папки, гладила пожелтевшие бумаги, шептала имена. И мне казалось, что все эти люди – Анна Тимофеевна, Иван Петрович, та безымянная женщина с фотографии – стоят за моей спиной и смотрят. Не осуждают. Ждут. Верят.

Я зажгла настольную лампу, открыла чистую тетрадь и написала сверху крупными буквами:

«Истории, которые нельзя забывать»

А ниже, красивыми буквами, какие у меня только тогда получались:

«Посвящается тем, кто потерял себя, но нашел других»

Спустя шесть лет я пишу эти строки. За окном снова вес-

на.

Слова больше не убегают. Они приходят. Иногда медленно, иногда спотыкаясь, но приходят. Я записываю их каждый день. Потому что знаю: стоит пропустить хоть один – и они обидятся, уйдут, спрячутся в тот серый туман, из которого я их с таким трудом вытаскивала.

Я пишу о них. О стариках, которые жили до меня и умрут после. Об их любви, войнах, потерях и крошечных радостях. О том, как Иван Петрович в восемьдесят лет открыл Толстого и ахнул. О том, как Анна Тимофеевна гладила ситец и шептала «шелк». О той женщине, чьи дети уехали, но чья улыбка на фотографии все еще освещает эту комнату.

Я пишу – и воскресаю. Каждый день. По чуть-чуть. По слову. По букве.

Я не хочу туда возвращаться.

Опасные стремления

Спал Лаврентий этой ночью беспокойно, поверхностно. Ворочался, кряхтел, мял подушку, раскрывался. Перед самым рассветом забылся и вроде как даже сон увидел: дом свой и деревню, и жену молодую, а потом открыл глаза, и так хорошо ему сделалось, спокойно.

«Катя во сне улыбалась, значит, простилась, значит, одобряет, – думал Лаврентий. – Чего же я лежу? – вспомнил, поднимаясь, дед. – Я же сегодня переезжаю! И чего мне смерти нет, сейчас бы не было всех этих хлопот, был бы рядом с Катей своей родной. А теперь неизвестно, что там меня ждет, стоит ли срываться с места, прирос ведь к дому, к деревне этой? Дом престарелых. Слово-то какое – престарелый я, стало быть. Новое звание теперь у меня».

Дед убрал постель, собрал нехитрые пожитки, фотографии и на самом дне сундука наткнулся на старый Катин блокнот, сплошь исписанный рецептами. Улыбнулся неровным старательно выведенным строчкам – Катя так боялась забыть что-то важное и каждую запись вырисовывала с любовью. Вот теперь и он сбережет эту память – заберет с собой. Заколотил дом.

Провожать вышли Лаврентия все сельские товарищи. Оно и понятно: передовик, ветеран труда, не последний человек. Председатель сказал, что лично повезет его на своем

мотоцикле. Село их Конгресс дальше, до города просто так, в любое время не добраться – а у Лаврентия путевка от областного комитета социального обеспечения, не хухры-мухры.

Интернат дед увидел еще издалека.

– Масштаб! – крикнул он из люльки председателю. – Какая усадьба! Вот для народа как строят! Конечно, семидесятые – это вам не сразу после войны.

Идут Лаврентий с председателем по территории, тихо переговариваются, осматриваются. Зашли в приемное отделение – все оборудование новое, стены и пол в белоснежном кафеле. Дед замялся у порога в своих стоптанных кирзовых сапогах, дальше не идет. Стоит, мнетя: то поправит старую душегрейку, надетую поверх давно не стираной рубахи, то почешет длинную бороду, то пригладит непокорные курчавые лохмы – стесняется ступить на белый пол.

– Идем, идем, Лаврентий! – подталкивает его председатель. – Зря, что ль, столько километров отмахали? Назад дороги нет.

– Вы не смотрите, – говорит председатель главной медсестре, – что дед немного запущенный. Лаврентий наш почти герой – везде первым был. Разведчик, одно слово. Просто один остался, потерялся в жизни совсем.

– Жена моя родная умерла, – оживился дед, стряхнув с се-

бя робость, – а сыновья разъехали по коммунистическим стройкам в разные концы Советского Союза. Я их сам все-му учил, наставлял. У человека должно быть главное дело в жизни. Я ими горжусь, только не видел уже давно. Нет, они пишут, – спохватился Лаврентий, – конечно, исправно, каждый месяц хвалятся и денег высылают по десятке. Да на что они мне, рубли их? У самого на книжке достаточно: и на черный день, и на похороны хватит. – Он утвердительно потряс рукой. – Только одному-то каково, вы же понимаете? – совсем осмелев, подошел дед к столу медсестры, оглянулся, не оставил ли грязных следов, и сел на кушетку.

– Внуков и то нянчить не дают, – махнул он рукой. – Городские все стали, не хотят ехать в деревню, на курортах отдыхают.

Вздохнул дед в прокуренные усы, помолчал. Тоска, знаете ли, штука липкая: прицепилась и ест поездом, потому что никакого стремления в жизни больше не осталось. Нет смысла ни в чем, понимаете? – он убрал с глаз свалившуюся челку, стараясь поймать взгляд медсестры. – Ни цели, ни красоты созидания, ни радости успехам... Как мы радовались раньше, когда трактора получали новые, когда комплекс построили! А теперь одна усталость и бессилие. Даже выходить из хаты стало лень. Баню не топлю давно – какая разница, каким в гроб ложиться? Вот председателю спасибо, – кивнул дед в сторону провожатого, – говорит, у вас настоящий пансионат для ветеранов, что мне положено.

– Конечно, положено! – перебил председатель. – Он у нас с самого окончания войны поднимал село. Кем только не работал: и скотником, и трактористом, и председательствовал немного, и фермой руководил, когда комплекс выстроили. Никакой работы не боялся.

– А как же иначе! – удивился дед. – Главное – было всегда дело, цель, к которой я стремился каждый миг своей жизни, а теперь вот вышел на пенсию и все – никому не нужен.

В усадьбе Лаврентию понравилось. Удивлялся он, как же все хорошо для людей придумано. Одним словом – пансионат. Большие светлые комнаты на двоих. В холле – холодильник и даже телевизор. В селе до сих пор не у всех есть – только радио слушают или собираются у соседей кино посмотреть, а тут пожалуйста: смотри сколько хочешь. В актовом зале концерты каждую неделю. А сад какой! Молодые яблоньки, груши, цветов столько – красота!

Выдали Лаврентию новую рубашку и брюки. Кирзачи сменили на удобные туфли, тапочки комнатные подобрали. Отвели к парикмахеру, и оказался дед совсем не старым мужчиной, а без бороды даже представительным.

Зажил пенсионер интересной жизнью – то выездные экскурсии по городу, то поездки в театр или кино, то цирк приедет, то артисты с концертом в пансионат нагрянут. Не остается времени у Лаврентия скучать и хандрить. Стал дед улы-

баться, по сторонам поглядывать, с соседями знакомиться. Столько интересных людей вокруг, оказывается! Даже известные и почетные пенсионеры тут живут.

Однажды вечером, прохаживаясь по саду, подошел Лаврентий к группе стариков, которые о чем-то горячо спорили после просмотра фильма. И тут одна женщина, не согласившись с собеседником, говорит:

– Нет, товарищи, вспомните, как Горький говорил: «Смысл жизни в красоте и силе стремления к цели, и нужно, чтобы каждый момент бытия имел свою высокую цель». А он это точно знал, такой человек не мог ошибаться.

Больше Лаврентий ничего не слышал. Как, как эта женщина могла знать то, что каждый день повторял себе он, однажды услышав еще перед войной? Знал наизусть и жил с этой фразой всю жизнь. Лаврентий любовался ею – она казалась ему прекрасной. Сидел в саду до последнего и напросился в провожатые.

– Я приехала сюда после смерти мужа три года назад, – рассказывала о себе незнакомка, пока дед ее провожал до отделения. Ее звали Антонина. – Здесь хорошо, спокойно, не одиноко. Я не привыкла быть одна. Мы всю жизнь с супругом в обкоме проработали вместе. Сразу после института поженились и по партийной линии шли рука об руку, нико-

гда не расставались.

«Какая красивая женщина! – думал Лаврентий. – Образованная, не чета мне, а одета как! И платье кримпленовое, и туфельки-лодочки, таких и не купишь в сельпо. Поди, и не тут выдали. Купленные, дорогие. О чем с такой говорить? Не опростофилиться бы».

Так запала в душу эта Антонина, что всеми днями и стоит перед глазами. Куда бы ни пошел, везде она. Как будто специально.

В воскресенье в интернат должен был приехать духовой оркестр, намечались танцы. Лаврентий решил обязательно пригласить Антонину. Оглядев свой гардероб, придумал купить себе хороший костюм, чтобы соответствовать. Отпросился вечером в город, в магазин.

Оглядев стройные ряды одежды, растерялся дед от предложенного выбора: и черные, и серые, и коричневые костюмы, и даже щегольские, в полоску.

Продавщица, молоденькая, с начесом, крутилась рядом, поглядывала с интересом.

– Примерять будете? – спросила, стрельнув глазами. – Для сына, наверное?

– Для себя, – буркнул Лаврентий и сам смутился своей дерзости.

Костюм он выбрал серый, в тонкую еле заметную полоску. Ткань шуршала под пальцами, как живая. Пиджак лег на плечи – будто всю жизнь на нем и рос. Лаврентий посмот-

рел на себя в большое, в пол, зеркало и не узнал. Из зеркала глядел не дед с потухшими глазами, как у покойника, а мужчина. Подтянутый, серьезный. Разведчик.

– Берете? – продавщица уже пробивала чек.

Лаврентий глянул на ценник и похолодел. Стоил костюм как два его месячных пенсионера. У него с собой было ровно в половину меньше. Можно было бы снять с книжки и вернуться позже, но ведь танцы уже завтра, а магазин в воскресенье не работает. Стоит Лаврентий посреди зала с вешалками, задумался.

– Мне бы... – начал он, но продавщица уже поняла.

– Дорого? – она вздохнула, но не зло, а скорее огорченно. – Так снимите, чего мучиться. Не по Сеньке шапка.

– Не по Сеньке, – эхом повторил Лаврентий.

Он стянул пиджак, повесил на крючок в примерочной и вдруг почувствовал себя голым. В своей старой фуфайке, с вечно мятой рубахой, он снова стал тем, кем был час назад – одиноким, никому не нужным стариком, которому не место на танцах.

Вышел из магазина, постоял на крыльце. Морозный воздух драл горло. Лаврентий закурил, глядя на освещенную витрину, где за стеклом стоял манекен в таком же костюме – сером, красивом. Манекен в нем казался живым и будто насмехался, дразнил.

«А Антонина? – стукнуло в голове. – Она в чем будет? В своем кримплене, в туфельках. А я в чем? О чем с ней

говорить, если я рядом с ней – как пугало огородное?»

Лаврентий вспомнил, как она говорила про Горького. Как сияла, когда спорила. Как поправляла волосы тонкими пальцами с аккуратным маникюром. «Такая женщина, – подумал он, – не для таких, как я».

Он затушил папиросу о перила и вдруг понял, что не может уйти. Ноги не шли. Будто костюм привязал его к себе невидимой ниткой.

«А что, если?..»

Мысль была дикая, страшная. Он даже отшатнулся от нее. Но она вернулась, уцепилась крепче.

«Ты воровать собрался, старый пень? – спросил он себя. – всю жизнь честно прожил, детей поднял, ордена имеешь – и на тебе, на старости лет, в тюрьму захотел?»

Но перед глазами стояла Антонина. Ее глаза. И как она скажет: «Приходите, Лаврентий, на танцы». А он придет в этом... в этом... Лаврентий посмотрел на свои стоптанные сапоги и заскрипел зубами.

– А один раз? – прошептал он в темноту. – Всего один раз в жизни сделать что-то не для других, не для плана, не для Родины, а для себя? Для нее? Один раз – и хватит. Потом отработаю, верну, заживу как надо.

Внутри все сжалось в тугую узел. Лаврентий оглянулся – никого. Магазин уже закрывался, последние покупатели выходили, толкаясь в дверях. Он подождал, пока стихнет гомон, и скользнул обратно.

Продавщица возилась за прилавком, пересчитывала рулоны ткани. Лаврентий прошел в примерочную, где на крючке висел его серый пиджак. Брюки лежали на скамейке.

Руки затряслись, едва он дотронулся до ткани. Лаврентий торопливо, ломая ногти о пуговицы, переделался прямо поверх нижней рубахи – некогда было церемониться. Пиджак лег на плечи как влитой, брюки сели по фигуре. Свою старую одежду он наспех скрутил в тугий узел и, оглянувшись на дверь примерочной, засунул поглубже под лавку, в самый темный угол. Потом заберет, если... если получится.

Сверху накинул фуфайку, запахнулся поплотнее и шагнул наружу. В ушах стучало так, что, казалось, весь магазин слышит этот гул. Фуфайка, надетая поверх нового пиджака, сидела колом, топорщилась, и Лаврентию чудилось, что каждый встречный видит эту нелепость, видит его преступление.

Продавщица мельком глянула на него – он перехватил ее взгляд и похолодел. Но она тут же уткнулась обратно в свои рулоны. Мало ли кто в чем ходит.

Лаврентий, не глядя по сторонам, двинулся к выходу.

– Мужчина! – окликнул его резкий голос.

Сердце упало. Он обернулся. Уборщица со шваброй стояла у него за спиной.

– Закрываемся, закрываемся! – крикнула она, махнув рукой. – Давай на выход. На выход, на выход! В понедельник придете. – Она старательно намывала пол, подгоняя его к выходу широкой шваброй, оставляющей мокрый след.

Лаврентий влился в поток покупателей, сделал пару шагов и остановился. Развернулся, кинулся к примерочным – и снова наткнулся на женщину со шваброй.

– Ну, куда ты, куда? Чего топчешь-то! – закричала она. – Вот ироды! Вам лишь бы пошляться, а мне мой за вами.

Лаврентий хотел ответить, что надо бы переодеться, костюм вернуть, даже рот открыл, но почему-то передумал. Раз так дело повернулось, он снова отправился к выходу. У самого прилавка встретился взглядами с молодой продавщицей. «Ну вот и все, – пронеслось у него в голове, – опозорят сейчас на всю Ивановскую». Девушка же, на удивление, улыбнулась и понесла развешивать отложенные костюмы.

Лаврентий молча вышел из магазина, комкая руками полы фуфайки, и только там, в темноте, позволил себе перевести дух. Под фуфайкой шуршал пиджак. На брюках оттопыривались карманы. Он украл. Он, Лаврентий Кузьмич, герой труда, ветеран, отец троих сыновей, украл, как последний жулик.

И странное дело – вместе со страхом и стыдом внутри разливалось что-то другое. Горячее, пьянящее, давно забытое. Он снова почувствовал себя живым.

А если кто все-таки заметил? А вдруг его вычислят? Всю обратную дорогу мучился, вспоминая: не осталось ли на оставленной одежде казенных печатей пансионата? Ре-

шил твердо: в понедельник либо вернет костюм незаметно в магазин на законное место, либо рассчитается, сняв деньги с книжки. Главное – пережить выходные и не опозориться, иначе на дружбу с Антониной точно рассчитывать не придется.

В воскресенье Лаврентий блистал. Антонина весь вечер смеялась в его объятиях, и они танцевали все вальсы и танго, которые исполнял оркестр. Вечер выдался на славу!

В понедельник Лаврентий с самого утра собирался в магазин. Отгладил рубашку, сложил в авоську костюм и галстук.

Как назло, в интернат приехала комиссия – проживающих в город не выпускали. Промучился дед до самого обеда. Ждал: вот сейчас откроется дверь и закончится его спокойная жизнь. Разоблачат, осудят из-за этого костюма, может, даже посадят. Но как вспомнит горящие глаза Антонины, ее объятия – нет, все было не напрасно. Все получилось как надо! К вечеру Лаврентий успокоился. Подумал: раз не хватились, так и пусть останется этот костюм нечаянным подарком.

На следующей неделе решил порадовать Антонину. Таковую женщину нужно баловать!

Много ли он делал подарков жене? Нет. Может, поэтому и жили они так обыденно? Другие радости у них были, но, может, Катенька ждала подарков не только на праздни-

ки – простого внимания, внезапного. Мелочей приятных – не по хозяйству нужных, а для души? Не было в жизни для Лаврентия ближе человека, чем жена его родная. Дышать он не мог без нее, спать спокойно после ее смерти, а про душу ее так и не узнал. Как так получилось – не объяснить.

С Антониной все по-другому. И думают они одинаково, и про душу ее Лаврентию все понятно с первой минуты. Вот с Катенькой своей, бывало, говорят и говорят – все по делу, по семейным надобностям, а чтобы просто о мечтах, о книгах, о стремлениях – никогда не получалось. Отмахнется уставшая жена и займется детьми, хозяйством. Так и не узнал Лаврентий, о чем на самом деле мечтала его Катя. Была ли счастлива?

Теперь все его мысли занимала Антонина.

– Что же подарить такой женщине, чтобы порадовать? – мучился Лаврентий. – У нас так мало времени осталось для этой радости. Поживем ли еще?

Придя в галантерейный отдел, дед долго рассматривал шелковые шали, статуэтки, заметил красивую косыночку – вот ее бы подарить, самое оно. Представил Лаврентий, как накинёт Антонина косыночку, как пойдут россыпью нарисованные ирисы по плечам, и заулыбался. А может, лучше духи, вроде солиднее? Стал спрашивать у продавца, какие духи лучше подарить пенсионерке.

– «Красная Москва», говорите, лучше? – рассматривал флакон Лаврентий, принюхивался, морщился. – А цветочные не годятся, что ли? Точно? А самые дорогие духи у вас какие, покажите?

Продавец, немолодой уже мужчина в очках, устало вздохнул, но полез под прилавок за коробками. Лаврентий косился на манекен у витрины. На его чуть склоненной набок голове небрежно, но удивительно красиво была повязана невестомая газовая косынка – с разводами сиреневого и золотого. Тонины глаза.

Сердце привычно екнуло, но страха не было. Совсем. Вместо страха в груди разлилось что-то теплое, пьянящее, знакомое – так бывало только в молодости, да еще в тот вечер, после первого раза. Азарт. Лаврентий вдруг поймал себя на мысли, что ему нравится это напряжение, эта игра в кошки-мышки, это ощущение, что он, старый пень, может обвести вокруг пальца этих городских, занятых своей важной жизнью.

Продавец выкладывал на прилавок духи, что-то говорил про стойкость аромата. Лаврентий согласно кивал, а сам краем глаза оценивал расстояние до манекена. Два шага. Всего два шага. Продавец стоял к витрине спиной, увлеченно демонстрируя коробочку.

– Вот, «Ландыш серебристый», тоже очень популярная серия...

– А ну-ка, покажите, – попросил Лаврентий, делая шаг

к прилавку и закрывая продавцу обзор. Тот еще ниже склонился, роясь в коробках.

Лаврентий сделал шаг назад. Еще один. Костяшки пальцев с застарелыми мозолями коснулись прохладной ткани. Одно движение – и косынка скользнула в его ладонь, послушная, как вода. Он скомкал ее и, не глядя, сунул в карман брюк. Все. Даже сердце не выскочило. Только легкий, приятный холодок пробежал по спине.

– Вот, – продавец выпрямился, протягивая ему «Ландыш». – Если сомневаетесь, лучше «Красную Москву» берите. Классика.

– Беру «Классику», – Лаврентий полез за деньгами. Руки его не дрожали. Он спокойно отсчитал купюры, забрал флакон, упакованный в коробочку, и, пожелав продавцу здоровья, неторопливо направился к выходу.

Толкнул дверь, вышел на крыльцо. И только здесь, на улице, позволил себе улыбнуться. В кармане мягким комочком лежала косынка. «Ловко я его, – подумал Лаврентий не без гордости. – Разведчик. Помнит свое дело!».

Прежнего липкого стыда не было. Было упоение. Он почувствовал себя не вором, а добытчиком, почти героем, идущим на подвиг ради своей прекрасной дамы. Опасное это было стремление, ой опасное, но отказаться от него Лаврентий уже не мог. Он снова был молодым, ловким, бесстрашным и даже влюбленным.

Антонина была в восторге! Соседки-старушки завидовали.

Отношения между ними крепили. Лаврентий с Антониной привязались друг к другу. Все больше времени проводили вместе за беседами, от которых становилось тепло: темы всегда находились, и обсудить всегда было что. Расставались ненадолго, с неохотой. Но теперь у Лаврентия появилась тайная страсть. Каждый раз из своих вылазок в город он возвращался с трофеем. В его жизни снова появилась цель: угадать, что обрадовало бы Антонину, найти и заполучить это любой ценой, вернее – без цены, даром.

С каким азартом дед составлял списки магазинов, в которые нужно сходить, помечал крестиком те, где уже побывал. Увлеченно чертил планы запасных выходов. В мыслях проигрывал свои операции и пути отступления. К делу подходил очень серьезно, как на войне. Пришел, разведал, взял.

Теперь Лаврентий одаривал свою Антонину по-царски. Были тут и роскошная шкатулка с ангелами из ювелирного, и браслет из крупного круглого жемчуга с золотой застежкой, и бархатные туфельки, дефицитные, непонятно как доставшиеся деду по случаю, не считая мелких хрустальных флаконов с косметикой и парфюмерией, перчаток, зонтов с оборочками и шелковых шарфиков.

Целый год дед ходил в разведку, пока его не поймали с поличным.

Пока шло следствие, в пансионате активисты провели товарищеский суд.

Всех собрали в актовом зале после ужина. Директриса, Клавдия Степановна, сидела за красным столом с секретаршей и двумя самыми активными пенсионерами – Семеном Михеичем, бывшим парторгом, и Анной Федоровной, бывшей учительницей. Остальные расселись на стульях рядками – кто с интересом, кто с осуждением, кто с жалостью.

Лаврентий стоял перед столом с опущенной головой. В казенных брюках и выстиранной до дыр рубашке, он казался маленьким и чужим самому себе.

– Садитесь, Лаврентий Кузьмич, – кивнула Клавдия Степановна на пустой стул. – Чего уж теперь, не мальчик же.

Он сел, положил руки на колени и замер.

Ох и наслушался тогда Лаврентий! Разнесли его проживающие как следует.

Семен Михеич, бывший парторг, говорил громче всех:

– Мы все тут люди с биографией! Кто воевал, кто заводы поднимал! А этот чем занимался? Воровством? Позор на весь пансионат!

– Правильно! – выкрикнул кто-то с заднего ряда. – Гнать таких!

Анна Федоровна, бывшая учительница, поджав губы, добавила:

– И главное, товарищи, никакого раскаяния! Он же, когда его взяли, заявил: если б не попался, так бы и продолжал!

– А ну, встань! – снова загремел Михеич. – Перед людьми скажи: каешься?

Лаврентий медленно поднялся. В зале стало тихо. Слышно было, как за окном ветер качает голые ветки.

Он обвел взглядом знакомые лица. Кто-то отводил глаза, кто-то смотрел с брезгливостью. В третьем ряду увидел Тоню. Она сидела бледная, с сжатыми в нитку губами.

Главное, ее не тронули, не стыдили. Никто не сказал о ней худого слова – словно договорились заранее. Только Михеич буркнул себе под нос: «Женщина, конечно, не виновата, что ей такие подарки дарили...», но и тот осекся под взглядом директрисы.

Лаврентий смотрел на Антонину и вдруг, сам не ожидая от себя, шагнул к ней, потянулся. Остановился в двух шагах, низко, в пояс, поклонился.

– Прости меня, Тоня, – сказал он громко, так, чтобы все слышали. – Прости, что вором оказался. Что не тем был. Не таким, каким должен быть. Не сберег тебя от позора.

Антонина молчала.

Замолчал и зал. Все ждали, что она скажет. Может, заплачет. Может, отвернется с презрением. Может, скажет, что видеть его больше не хочет.

Она не плакала. Не упрекала. Не сказала, что презирает его или, еще страшнее, что не хочет больше видеть.

Она просто смотрела на него – долго, не отрываясь. В глазах ее стояли слезы, но она не позволяла им упасть. А потом чуть заметно, одними уголками губ, улыбнулась.

– Садись, Лаврентий, – тихо сказала Клавдия Степановна. – Будем решение выносить.

После товарищеского суда Лаврентий не пошел в свою комнату. Ноги сами вынесли его в сад, к той самой скамейке, где они с Антониной просиживали вечерами. Сесть не решился – стоял, прислонившись к голому стволу яблони, и смотрел в темноту.

Она пришла через полчаса. Услышал шаги за спиной, обернулся. Антонина стояла на дорожке, закутанная в платок, и смотрела на него так, будто видела впервые.

– Тоня... – начал он и осекся.

Она молча подошла ближе. Остановилась в шаге. В темноте не разглядеть лица, только глаза блестели – то ли от слез, то ли от лунного света.

– Это правда? – спросила она тихо. – Все, что они говорили... про слезку, про магазины... Ты правда все это... для меня?

Лаврентий хотел соврать, сказать, что это наветы, что оговорили его, но язык не повернулся. Он только кивнул.

Антонина закрыла лицо руками. Плечи ее задрожали.

– Тоня, не надо, – рванулся к ней Лаврентий. – Ты не плачь, я все выдержу, я старый, мне что... Только ты не плачь...

– Молчи! – выкрикнула она вдруг, отняв ладони от лица. – Молчи, Лаврентий! Ты понимаешь, что ты наделал? Ты понимаешь?

Он замер. Она стояла перед ним – маленькая, хрупкая, но сейчас в ней чувствовалась такая сила, что он оробел.

– Ты украл, – сказала она, и голос ее дрожал. – Украл, как последний... Ты вор, Лаврентий. Вор! Я принимала подарки от вора, радовалась... – она всхлипнула, но сдержалась, не заплакала. – Как теперь жить, как смотреть людям в глаза?

Он молчал. Что он мог ответить?

Антонина смотрела на него – долго, пристально, словно пыталась разглядеть в его лице что-то, чего раньше не замечала. Потом медленно, очень медленно подняла руку и коснулась его щеки. Ладонь у нее была холодная, дрожащая.

– Ты, Лаврентий, – сказала она тихо, почти шепотом, – ты – настоящий бандит.

Слово это ударило его сильнее, чем все крики Михеича на суде. Он дернулся, хотел отстраниться, но она не отпустила, держала ладонь на его щеке.

– Бандит, – повторила она, и в голосе ее вдруг проступило что-то странное – не гнев, не отвращение, а... удивление? Растерянность? – Я всю жизнь с партийными работниками прожила. С правильными, аккуратными, до копейки честными. А ты... ты украл для меня. Ты рисковал. Ты мог в тюрьму пойти – и пошел. Ради меня.

– Тоня, – выдохнул он, не веря своим ушам.

– Молчи, я сказала, – она прижала пальцы к его губам. – Дай мне сказать. Это ужасно. То, что ты сделал – это ужасно. Просто ужасно. Я не знаю, как мне с этим жить. Я не знаю, что теперь будет. Это ужасно... – слова повторялись, но теперь в них слышалась не злость, а растерянность, смятение, страх.

Она замолчала. Стояла, глядя на него, и вдруг – резко, порывисто – обхватила его руками за шею, прижалась изо всех сил, словно хотела смять его в объятиях, спрятать, защитить, удержать.

– Господи, Лаврентий, – зашептала она куда-то ему в грудь, в фуфайку, пахнущую махоркой и улицей. – Господи, какой же ты... какой же ты... дурак! Старый дурак! Зачем? Зачем ты это сделал?

Он обнял ее в ответ – робко, неумело, боясь сделать больно. Она была такая маленькая, такая теплая, такая живая.

– Затем, – сказал он хрипло, в ее пахнувшие духами волосы, – затем, что ты – это ты. Что жить без тебя не могу. Что помирать собрался, а ты меня воскресила. Понимаешь? Воскресила. А воскресшие, они... они не всегда по правилам живут.

Антонина отстранилась, заглянула ему в глаза. По щекам ее наконец потекли слезы – молчаливые, тихие, без всхлипов.

– Ты с ума сошел, – прошептала она. – Совсем с ума сошел.

– Сошел, – согласился он. – А ты?

Она не ответила. Только прижалась снова – крепко-крепко, до хруста, до боли. И стояли они так посреди темного сада, под голыми ветками, и ветер трепал ее платок, и где-то в пансионате уже гасили свет, а им двоим не было ни до чего дела.

Все подаренные вещички, украденные дедом, изъяла милиция во время обыска. Даже тот костюм, с которого все началось. Только газовая косынка осталась у Антонины.

Потом, когда Лаврентия осудили и увезли, она надевала ее очень часто. То наденет на голову поверх высокой улитки, то кокетливо прикроет шею, повязав под строгий костюм, – словно для него, для Лаврентия. Как будто он ее видит. Словно кричит ему: «Помню. Жду».

Дед больше не вернулся. Но точно известно: через год Антонина уехала из пансионата. Поговаривали, что эти двое после освобождения Лаврентия уехали жить в его родное село Конгресс. Опасные стремления стали началом новой жизни.

Вышивальщица-шептунья

Эпидемия ковида не обошла усадьбу стороной. Интернат закрыт на карантин. Жизнь больше не будет прежней. Все теперь иначе. Изменились не только люди в своем отношении к окружающим – усадьба стала другой. Закрыты библиотека, актовый зал, домовый храм. Главную центральную лестницу перегородили. Жизнь огромного дома забытых душ остановилась. Молчаливая тоска и страх заполнили отделения. Длинные переходы и холлы пугают непривычным гулким эхом и стерильной пустотой. Переходить из отделения в отделение запрещено. Все сидят взаперти. Каждый день страшная непонятная болезнь забирает самого слабого, самого старого жителя, поражая следующего. Старики уходят друг за дружкой, усадьба пустеет, и никто этому не может помешать.

Утро в усадьбе начинается с запаха. Запах хлорки мешает с запахом вчерашних щей, который намертво въелся в стены коридора. Этот запах здесь главный. Он встречает тебя у входа и провожает до самой кровати.

В холле бубнит телевизор. Он бубнит всегда. С утра до вечера. Там что-то про жизнь, про любовь, про другие страны, но звук такой, будто муха бьется о стекло, – разобрать невозможно, да никто и не вслушивается. Просто шум. Чтобы не так страшно было молчать.

Старушки сидят вдоль стены на диванах. Ровно, как кукулы, которых посадили и забыли убрать. Кто в халате, кто в платке. Совсем перестали наряжаться. Не крутят бигуди. Не надевают париков и у кастелянши не глядят красивые платья. Настроение не то. Молчат, не разговаривают. Все уже обсудили за месяц, новостей, кроме печальных, в последние дни нет. Они смотрят на дверь. Не на телевизор, не друг на друга – на дверь. Ждут. Может, сегодня привезут новенькую. Расскажет, как там, за забором, люди справляются с болезнью.

Медсестра отделения Лилия Олеговна подошла с графиком процедур.

– Ну что, Веселушки мои, приуныли? – поздоровалась она с ними. – Позавтракали все? Я вам массаж расписала. Хотите? Хоть немножко оживитесь.

Кто-то кивает, кто-то даже не моргает. Только одна, баба Нюра из двадцать третьей, отозвалась. Закивала, улыбнулась. Потом посмотрела на своих соседок и тоже сникла.

Баба Нюра тихая. За весь год, что она тут, никто, кажется, и голоса ее не слышал. Но руки у нее никогда не молчат. Целыми днями она перебирает полиэтиленовый пакет – тот самый, шуршащий, из «Пятерочки». Гладит его, сворачивает, разворачивает, разглаживает пальцами каждый сгиб. Пальцы у нее старые, с вздутыми венами, узловатые, но пакет они чувствуют. И пакет шуршит в такт ее мыслям.

Баба Нюра подошла к окну. Там дорога и главные ворота

в усадьбу, по которым теперь редко кто приезжает. Но она смотрит. Вдруг?

Лилия Олеговна прошлась по комнатам, открыла окна на проветривание. У многих висят над кроватью и стоят на тумбочках фотографии. Дети, внуки, мужа молодые. Кто-то разговаривает с ними, кто-то целует на ночь. Но чаще просто стоят на тумбочке. Пылятся.

«От вас не избавляются, – говорит всегда своим старушкам Лилия Олеговна. – У вас просто изменились условия проживания».

Условия изменились. Это правда. Тепло, кормят три раза, белье меняют. Все по-человечески. Только легче от этого почему-то никому не становится.

Стоит баба Ньюра с пакетом, смотрит на дорогу. В холле бубнит телевизор. По коридору плывет запах хлорки и щей. И так каждый день.

До того самого утра, когда у ворот остановилась машина и из нее, кряхтя, вылезла маленькая круглая старушка с огромной сумкой, из которой торчали пальцы и клубок ярко-рыжих ниток. Это приехала баба Зося.

При поступлении она не плакала, не жаловалась. Но все запомнили этот день. Январский, морозный, с низким солнцем, которое било в окна vestibюля и никого не грело.

Ее привез сын Костя на старенькой «Ниве». Высокий, худой, в пуховике, который был ему великоват – или это он сам за зиму стал меньше. Они прощались у окна. Костя обнял мать за плечи – осторожно, будто боялся сделать больно. Она доставала ему только до груди, и он наклонил голову, уткнувшись носом в ее платок.

– Мам, ты тут смотри. Не скучай. – Голос у него был глухой, простуженный.

– Чего мне скучать, – бодро ответила Зося, но руки ее вцепились в рукав его пуховика и не отпускали. – Небось не одна тут остаюсь, с людьми.

– Ты ешь хорошо. А то знаю я тебя: сядешь за вышивку и забудешь про все.

– Не забуду, не забуду, – закивала она.

Костя отстранился, заглянул ей в лицо. Потом вдруг опустился на корточки – тяжело, с хриплым выдохом – и взял ее ладони в свои.

– Мам... ты это... Если что – не держи. Ладно?

– Чего не держать? – не поняла Зося.

– В сердце. Если обида какая. Если я не так что сделал. Ты не держи. Я тебя... я всегда.

Зося смотрела на него сверху вниз сквозь свои толстенные линзы, и лицо ее вдруг стало беспомощным, детским.

– Ты чего, Костенька? – Голос ее дрогнул. – Ты чего это говоришь? Ты же через три месяца приедешь. Сам сказал.

– Приеду, – кивнул он, глядя куда-то в сторону. – Обяза-

тельно приеду.

Она положила ладонь ему на макушку, перекрестила медленно, как в детстве крестила перед сном.

– Господь с тобой, родной.

Костя поднялся. Достал из кармана платок – обычный, белый, вышитый по краю мелкими васильками. Вытер ей щеку.

– Не плачь. Это всего лишь обычная вахта. Через три месяца я приеду за тобой.

– Я не плачу, сынок. Просто слезы сами текут.

Костя сложил платок, спрятал в карман.

– Носи с собой, – сказала Зося. – Я вышивала для тебя.

– Буду носить, – пообещал он и улыбнулся.

Он поцеловал ее в лоб, развернулся и пошел к двери быстро, не оглядываясь. Баба Зося сделала шаг за ним, остановилась, прижала руку к груди.

– Костя! – крикнула вдруг громко, на весь коридор.

Он замер у самой двери. Не обернулся.

– Ты береги себя, слышишь?!

Он кивнул – один раз, резко – и вышел. Стеклопанная дверь медленно закрылась за ним.

Зося стояла в пустом коридоре, маленькая, растерянная. Потом повернулась и сказала сама себе, будто оправдываясь:

– Дура старая. Нашла из-за чего реветь. Три месяца – не год.

Пробыв неделю в карантинном отделении, баба Зося вышла во двор усадьбы.

Вещи унесли в комнату, где ей предстояло поселиться, а она попросилась постоять на улице, подышать. Вот такую – маленькую, в смешном беретике – баба Нюра увидела ее из окна и тут же рассказала всем:

– Все, эта точно к нам идет, – безапелляционно заявила она. – Идемте встречать, бабы! Небошь в пустую двадцать пятую поселят. Вот радость-то! Дождались!

Старушки засуетились, поднялись с дивана и направились к входу в отделение.

– Вот заполошные, ну чего помчались? – крикнула баба Шура. – Напугаете еще ее. Выстроились, страхолюдины нечесанные. Сидите уж тут. Ждите. Может, ее вообще не в наше отделение определяют?

Раздосадованные бабушки, как по команде, развернулись и прилипли к окнам – гадать, куда же она пойдет.

Баба Зося постояла, огляделась. Посмотрела на серые стены корпуса, на унылые голые кусты. И... покачала головой: «Скучновато, мрачновато».

Потом она решительно полезла в свой ридикюль, болтающийся на руке, и достала яркий кумачовый лоскут, расширенный незабудками. Подошла к двери – и давай прилаживать его на ручку. Сначала просто повесила, отступила, посмотрела. Покачала головой – не то. Сняла, сложила уголком, при-

вязала.

Санитарка, вышедшая встречать бабу Зою, поперхнулась.

– Ты это чего, бабка? – спросила она осипшим голосом. – Тут тебе не деревня, тут казенный дом. Не положено тряпки вешать.

Зоя обернулась. Посмотрела на Любу сквозь толстые линзы внимательно, даже ласково. Улыбнулась.

– Дочка, – говорит, – а что положено-то? Тут и так серо да уныло, хоть глаз выколи. А цвет – он радость дает. Ты погляди, как повеселело сразу.

Яркий лоскут на белой двери горел, как светофор.

– Ладно, – махнула рукой Люба. – Поднимайся на третий этаж в женское отделение. Твоя комната – двадцать пятая.

Вещи баба Зоя разбирала долго и старательно. Люба ей помогала и советовала, куда что разложить.

– Осторожно, дочка, – только и слышно было из двадцать пятой. – Коробки не переворачивай. Там иголки-ниткоглотки рассыплются – век не соберем.

В ее коробочке, оклеенной пожелтевшей тканью, хранилось все ее богатство: иглы-кормилицы, нитки-думы и наперсток-молчун. Каждый вечер она выпускала их на волю – ткать ее тихие сны и молитвы.

– Чего-чего? – удивилась Люба.

– Ну приспособления мои, – объяснила Зося. – Иголки, нитки, пальцы, наперстки. Я их ласково так зову. Они ж мои кормильцы.

Комната бабе Зосе досталась самая обычная: кровать, тумбочка, стол и стул, платяной шкаф. Как у всех. Но комната Зоси быстро стала похожа на терем.

На тумбочке стояли фотографии в вышитых рамочках, на подоконнике – комнатные цветы в горшках, обвязанных крючком. Стул она уже накрыла накидкой с вышитыми пестухами. На столе – белоснежная скатерть с вышитой каймой. Зося примеряла, как бы пристроить на стену картину – вышитую «Тайную вечерю» в полметра шириной.

– А это куда? – растерянно спросила Люба. – У нас же не положено стены портить. Гвозди нельзя.

Зося обернулась, держа картину на вытянутых руках. Посмотрела на нее поверх очков.

– А кто ж говорит – гвозди? Дочка, ты что? Я ж на булабочках. Маленьких таких, английских. Они дырочек не делают, а картину держат. Я всю жизнь так. Ни одна стена не пострадала.

Она ловко пришила «Тайную вечерю» к стене. Отступила, полюбовалась. Потом достала из сумки еще одну вышивку – поменьше, с ангелами. Пришила над кроватью.

Баба Нюра из двадцать третьей как раз шла по коридору со своим вечным пакетом – и остановилась у открытой две-

ри, засмотрелась. Стояла на пороге, разинув рот. Пакет в ее руках замер – первый раз за весь день не шуршал.

Зося наконец заметила гостью.

– Ой, здравствуй, соседка! – всплеснула она руками. – Я Зося. Заходи, не стесняйся. Чай будешь? У меня и варенье есть?

Баба Нюра молчала. Она смотрела на вышитых ангелов, на петухов, на васильки на скатерти, на горшки в кружевных попонках. Потом перевела взгляд на Зою. Та стояла посреди этого буйства красок – маленькая, круглая, лучистая – и улыбалась.

– А это... это все ты... сама? – выдавила баба Нюра, показывая дрожащим пальцем на ангелов.

– Сама, милая, сама, – кивнула Зося. – Руки-то скучают без дела. А у тебя вон пальцы какие беспокойные. Все пакет мнут. Ты бы лучше вышивать училась. Хочешь, научу?

И она протянула бабе Нюре небольшие пяльцы – новенькие, деревянные, с уже заправленной канвой.

Баба Нюра отшатнулась, будто ей предложили взять горячую сковородку. Пакет ее жалобно хрустнул.

– Я... я так не умею... – прошептала она.

– А я научу, – просто сказала Зося. – Ты погляди, какие руки у тебя. Чуткие. Им работка нужна. А пакет – он что? Он шуршит и помрет. А вышивка – она навек. Садись, не бойся.

Баба Нюра села. Села на краешек стула с петухами и взяла в руки пяльцы так, будто это был младенец, которого ей дали

подержать. Осторожно, боязно, с удивлением.

А Зося уже разбирала нитки, приговаривая:

– Вот это – травка, это – зорька, это – небо вечернее. Ты не смотри, что ярко. Яркость – она душу греет. Особенно когда на улице сыро и холодно. А у нас теперь всегда тепло будет. Вот увидишь.

И правда – в комнате вдруг стало светлее.

Люба вышла, оставив старушек одних. Запах хлорки никуда не делся, телевизор все так же бубнил в холле, бабушки сидели вдоль стены и смотрели на дверь. Но что-то изменилось.

Из двадцать пятой комнаты доносился голос Зоси – она что-то рассказывала, мерно, напевно, и баба Ньюра, кажется, даже отвечала. Впервые за год.

Люба посмотрела на дверь в конце коридора. На ручке горел кумачовый лоскут, такой же, как на улице, только с васильками. Когда привязать успела?

И Люба вдруг поняла: теперь все будет по-другому.

Баба Шура не могла наслушаться новенькую. Все ей было интересно.

– И че, – кивнула она на картину над кроватью, – долго ты училась так вышивать?

Зося посмотрела на нее поверх линз и улыбнулась:

– Так я с детства, Шурочка. Меня мамка научила. А мне вот некого учить. Доченьки Бог не дал. Сноха не захотела, а потом они и вовсе разошлись в разные стороны. Не сжились. Но я не ропщу, у меня Костик! Он всегда рядышком. С малолетства. Смотрел, слушал, ниточки мои перебирал. Запоминал. Маленький еще, годочков пять. Посажу его на табуретку, дам карандаши, бумагу – он и рисует. А сам все поглядывает, как иголка ходит.

Она отложила пяльцы, сцепила пальцы на коленях и смотрела куда-то сквозь стену, сквозь время.

– Он же у меня почемучка был. «Мам, а почему нитка разноцветная? Мам, а как цветочки получаются? Мам, а покажи, как птичку сделать». Я смеялась: вырастешь – будешь вышивать, девочкам платочки дарить. А он серьезный такой: «Нет, я тебе помогать буду. Твои глазки устанут, а я молодой, я хорошо вижу».

Зося вздохнула и поправила платок.

– Однажды я заболела. Грипп тогда ходил, тяжелый. Тоже много народу померло. Лежу, глаз открыть не могу, голова чугунная. А Костику шесть лет. Чую сквозь сон – кто-то руку мою трогает. Открываю глаза, а он стоит с коробкой моей, с нитками. И говорит шепотом: «Мам, ты не волнуйся. Я за тебя вышию. Ты только говори, какой цвет брать. Я все сделаю, ты только выздоравливай».

Она тихонько засмеялась, и в этом смехе слышна была такая нежность, что баба Шура зачмокала губами и принялась

тереть глаза.

– Я на него тогда, дура, накричала. Испугалась, что нитки перепутает, что иголкой уколется. А он не обиделся. Он сел рядом на пол, голову мне на кровать положил и говорит: «Тогда я просто посижу. Ты спи, а я постерегу, чтоб никто не мешал». И сидел. Три часа просидел, пока я спала. В шесть-то лет.

Она помолчала, потом взяла пяльцы, посмотрела на начатый узор.

– Так и повелось. Я вышиваю – он рядом. Сначала на табуретке, потом за столом, потом уже взрослый, с газетой. А когда женился, все равно приезжал и сидел. Говорил: «Мам, я как услышу, как ты шепчешь – так спокойно сразу. Значит, дома я».

Вечер в усадьбе – время самое тоскливое. Телевизор наговорится и замолкает, ужин съеден, таблетки выпиты, до сна еще далеко, а думать о своем – больно. Старушки рассаживаются кто где: кто в холле, кто в коридоре на стульях, кто в комнатах у открытых дверей – так хоть слышно, что не одна ты. В двадцать пятой всегда горит яркий свет. Зося не экономит – ей видеть надо.

Каждый вечер начинается с ритуала. Она берет канву – белую, плотную, накрахмаленную – и натягивает на пяльцы.

Медленно, с хрустом. Сначала ослабляет винт, вкладывает ткань, потом закручивает и тянет за край, пока не пойдет тот самый звук: тугое, упругое натяжение, когда ниточка-основа вот-вот лопнет, но держится. Зося слушает этот хруст, как музыку. Кивает сама себе: готово. Дальше – выбор иголки. У нее их целое семейство в жестяной коробке из-под монпансье. Толстые и тонкие, длинные и короткие, с большим ушком и с маленьким. Зося подносит коробку к свету, щурится сквозь линзы, перебирает. Эту не берет – тупая. Эту тоже не надо – для шерсти, а у нее хлопок. Наконец находит ту самую. Подносит к глазам, проверяет острие пальцем, довольно улыбается.

Теперь нитки. Мулине у Зоси – отдельная песня. Она раскладывает их на тумбочке не абы как, а по порядку: от красного к оранжевому, от оранжевого к желтому, и так дальше, через зеленый к синему и фиолетовому. Когда все пасмы разложены, тумбочка превращается в радугу. Яркую, живую, светящуюся. Баба Нюра, если застает этот момент, замирает и смотрит, как замороженная. Иногда даже пакет из рук вываливается.

– Красота-то какая, – шепчет она. – Прямо как в детстве, знаешь... конфеты разноцветные на прилавке.

Зося не отвечает. Она уже там, в другой реальности.

Она отрезает нить. Не на глаз, а меряет по локтю – от локтя до кончиков пальцев, ровно столько, чтобы хватило, но не путалось. Вдевает в иглу с первой попытки – непонят-

но, как у нее с такими линзами это получается. Узелок не завязывает, прошивает кончик. Один, второй стежок, протяжка – и готово. И тут начинается главное. Зося заносит иглу над канвой. И замирает.

Она смотрит в схему – у нее там в тетрадочке все расчерчено клеточками, – но не просто смотрит. Она шевелит губами. Раз, два, три. Потом поднимает глаза к потолку. Беззвучно шевелит губами снова. Потом кивает – кому? себе? невидимому собеседнику? – и только тогда делает первый стежок.

Иголка входит в ткань с тихим «чпок», выныривает снизу, Зося тянет нить до конца, и на белом поле загорается первый красный крестик.

– Ты чего шепчешь все? – спросили ее наши старушки, как только Зося села перед телевизором со своей вышивкой. – Молишься?

Зося подняла на них глаза, и они были такие ясные, такие спокойные.

– Считаю. Крестики считаю. Тут ведь счет нужен, как в аптеке. Ошибешься на один – и весь рисунок поплывет. Вот я и считаю. Про себя сначала, потом забываюсь и, наверное, начинаю вслух. А иногда, – она хитро улыбнулась, – иногда советуюсь. Сверху-то виднее, правильно ли я делаю.

Они не стали уточнять, кто этот «сверху». Ангел-хранитель? Бог? Или сынок, который теперь далеко, но мысленно с ней? Не важно. Главное, что после этих слов она работала,

а все сидели и смотрели только на нее.

И чем дольше смотришь, тем сильнее хочется спать. Это правда. У Зоси есть этот дар – усыплять одним своим присутствием. Иголка ходит вверх-вниз, вверх-вниз, ритмично, как метроном. Нитка шуршит, проходя сквозь ткань. Губы шевелятся – беззвучно, но ты будто слышишь этот счет: раз-и-два-и-три-и. И в комнате становится так хорошо, так уютно, так безопасно, что глаза слипаются сами собой.

Баба Нюра стала медленно клевать носом, пакет выскользнул из рук и упал на пол, но она даже не проснулась. Впервые за год баба Нюра спала без своего пакета. И лицо у нее во сне было не испуганное, не настороженное, а спокойное. Почти счастливое.

Потом приковыляла тетя Рая из двадцать седьмой. Села на краешек дивана, оперлась спиной о стену и через пять минут уже похрапывала, свесив голову на грудь. За ней – баба Шура, которая обычно всю ночь ворочается и стонет. А тут устроилась в кресле, подложив под бок подушку-думочку с райскими птицами, и засопела, как младенец.

Зося вышивала. Иголка порхала, нитка переливалась, губы шевелились. В холле было полным-полно народу, но стояла такая тишина, какая бывает только в детстве, когда мама рядом и можно ничего не бояться.

За окном шумела вьюга. Ветер грохотал жестяным карнизом. У кого-то в комнате бубнил забытый телевизор. А здесь было тепло и тихо. И старушки спали. Спали без снов, без

страхов, без тоски. Просто спали, потому что рядом была Зося, и ее иголка отсчитывала минуты их покоя.

И только шепот:

– Тридцать четыре... тридцать пять... тридцать шесть... правильно, родимый, правильно... сейчас еще немножко... и будет тебе небо...

Костя и правда не звонил, как обещал. Наверное, неоткуда на этой вахте. Раз сказал – значит, так и есть. Но зато каждую неделю, к выходным, приходили от него посылки.

Суббота в усадьбе – день особый. С утра бабушки усаживаются у окон, и в холле тишина стоит такая, что слышно, как муха ползет по стеклу. Ждут. Кого-то дети заберут на выходные, к кому-то внуки приедут, кому-то позвонят. А кто не ждет – те делают вид, что смотрят телевизор, но краем глаза все равно косятся на дверь. А теперь с этим карантинном жди – не жди, никто ни к кому не приходит и никого никуда не выпускают. Не перед кем хвастаться.

И только Зося субботу ждет по-своему.

В пятницу вечером она достает из шкафа платье. Не халат, не кофту с юбкой, а платье – темно-синее, в мелкий цветочек, с вышитым воротником, который она сама же и украшала: васильки да колоски, будто она не в усадьбе, а в поле сидит. Надевает, разглаживает руками, подходит к зеркалу – поправляет берет. Смотрит на себя строго.

– Ну что, Зоська, – шепчет, – готова?

И садится у окна.

Сидит прямо, руки на коленях сложены, взгляд на ворота. Сидит и ждет. Может час, может два, может полдня просидеть. На обед не идет.

– Баба Зося, идемте есть, – зовет ее Лилия Олеговна. – Сегодня рыба под маринадом, вы же любите.

Та головой качает, а глаз от окна не отрывает:

– Не могу, дочка. А вдруг он приедет, а меня нет? Он же ждать не будет, у него работа. А я потом без посылки сиди.

– Так я посторожу, – уговаривает медсестра. – Увижу – позову.

Зося поворачивается, смотрит сквозь линзы строго-строго:

– А если ты в столовой зашумишь и не услышишь? Или уйдешь кого мыть? Нет, дочка. Я уж сама. Ты мне супчик сюда принеси. Я и тут похлебаю.

Хлебает, ложкой стучит, а сама в окно смотрит.

– Сегодня точно будет, – говорит Зося, отставляя тарелку. – Он всегда по субботам. Чует мое сердце.

И правда – ближе к трем, когда солнце уже начинает клониться к закату и тени от тополей становятся длинными, за воротами появляется знакомая синяя машина доставки.

Зося вскакивает так резво, что стул с петухами чуть не падает. И бежит – маленькая, круглая, в своем нарядном платье: шлепанцы по полу шлепают, очки подпрыгивают на носу.

– Привез, милоч? – спрашивает таким голосом, будто

от ответа вся жизнь зависит.

– Привез, бабушка. Две коробки. Распишитесь.

Зося расписывается дрожащей рукой, принимает посылки и несет их в комнату, как самое великое сокровище.

– Баба Нюра! – кричит уже из коридора. – Рая! Шура! Идите все! Костины гостинцы пришли!

Из комнат высовываются любопытные лица. Баба Нюра бросает свой пакет, тетя Рая ковыляет с палочкой, баба Шура даже телевизор выключает – такого с ней не бывает никогда. Собираются в двадцать пятой, рассаживаются кто на кровати, кто на стульях.

Зося ставит коробки на стол. Медлит. Гладит рукой шершавый картон. Потом начинает священнодействие.

Сначала проводит пальцем по скотчу. Не рвет, не дергает, а гладит, будто спрашивает разрешения. Потом подцепляет край ногтем, тянет. Скотч противно скрежещет, отклеиваясь. Зося морщится, но терпит.

Наконец открывает.

В первой коробке – конфеты. Карамельки, любимые, без оберток, россыпью. Кисленькие, которые она так любит.

– Костик, – шепчет. – Родной.

Потом открывает глаза и начинает делить. Подходит к каждой.

– Это тебе, Нюра, за компанию. Это тебе, Рая, за доброе слово. Это тебе, Шура, за то, что справедливая.

Шура смеется, у нее зубов нет, смех свистящий, но счаст-

ливый.

Вторая коробка больше, тяжелая, холодная даже через картон. Зося открывает ее осторожно, заглядывает внутрь – и ахает.

– Мороженое! – кричит она. – Целое ведро!

Ведро и правда огромное, пломбир, с шоколадной крошкой.

– Сначала ты, Нюра, – командует Зося. – Ты старшая.

Баба Нюра несмело зачерпывает, пробует, зажмуривается. И улыбается.

– Холодно, – шепчет. – И сладко. Как в детстве...

Едят по очереди. Ведро ходит по кругу. В комнате тепло, пахнет ванилью и сладким молоком, и за окном уже темнеет, а всем хорошо. Всем хорошо.

– А это что? – спрашивает баба Шура, показывая на сверток.

Зося оборачивается.

– А это... это тоже Костик, – говорит она тихо. – Только это, видно, отдельно привезли. Я и не заметила.

Сверток длинный, узкий, в плотной бумаге, перевязан бечевкой. Не коробка. Не пакет. Что-то другое.

Зося берет его в руки. Осторожно развязывает бечевку – пальцы дрожат, узел не поддается. Баба Шура помогает. Снимают бумагу. И в комнате становится тихо.

Это букет.

Такой букет, какого никто из них в жизни не видел.

Огромный, пышный, невероятный. Там были цветы, похожие на розы, но не розы – больше, нежнее, с лепестками, которые светились изнутри перламутром. Там были веточки с мелкими белыми бутонами, похожими на жемчуг. Там была зелень – кружевная, ажурная, будто ее тоже вышивали, а не растили.

Но главное – запах.

Цветы пахли так, будто все вдруг оказались в лесу, в поле, в раю. Свежо, чисто, прозрачно. Тетя Рая, которая вечно кашляет, вдохнула и замерла. Баба Шура перестала жевать мороженое. Баба Нюра открыла рот и забыла его закрыть.

Зося держала букет в руках и смотрела на него. Просто смотрела. Потом поднесла к лицу, коснулась губами лепестка.

– Ну, здравствуйте, мои красивые. Откуда вы такие? Из сада? Или из рая? – шепчет она. – Я вас поставлю в мою синюю вазу, ту, что с пупырышками, она от Кости, еще с новоселья осталась. Ну какая же красота! Красота неписаная. Как же вышить такую, Нюра? Как же смочь? Как он догадался, что душа моя просит?

Она поставила букет на тумбочку, рядом с радугой из ниток. Села на кровать. И больше в тот вечер не сказала ни слова. Только смотрела на цветы, гладила лепестки, трогала веточки. И губы ее шевелились – беззвучно, но все знали: считает.

Старушки разошлись потихоньку, поняли, что не до них.

Баба Нюра у двери оглянулась, хотела что-то сказать, но только вздохнула и ушла, прижимая к груди свой пакет.

А Зося сидела. Смотрела. Гладила. Зарисовывала. И шептала:

– Как же вышить... как же смочь... Костик, Костенька... как же ты...

За окном стемнело совсем. Метель закончилась. Только ветер все еще гулял по двору, и где-то вдалеке лаяла собака.

Все погасили свет и улеглись, но все думали об этих цветах и счастливой Зосе.

На следующий день баба Зося разбирала Костины подарки. Когда Лилия Олеговна зашла, она сидела за столом, и при свете настольной лампы комната напоминала лавку сокровищ. Перед Зосей стояла плетеная корзинка, доверху наполненная моточками мулине.

– Я и не знала, что бывает столько оттенков, – удивилась медсестра. – Какое богатство! – вырвалось у нее.

Баба Зося подняла голову, линзы блеснули, и она улыбнулась по-детски довольной:

– Костик передал. В посылке. Глянь, что делает, разбойник!

Она запустила руки в корзинку, как в воду, и начала перебирать. Медленно, с наслаждением. Пальцы ее – узловатые,

с припухшими суставами – вдруг стали легкими, молодыми. Она брала каждый моточек, подносила к глазам, поворачивала так и эдак.

– Этот, гляди, «веленый мох» называется. А этот – «утренняя роса». Чуешь? Роса и есть, светится. А это вот, – она выудила темно-бордовый, почти черный моток, – «кровь дракона». Для райских птиц хорошо пойдет, на хвост.

Она выкладывала нитки на скатерть рядами, сортировала по цветам: от белого к синему, от синего к фиолетовому, потом теплые – желтые, красные, терракотовые. Руки ее порхали над этим разноцветьем, то замедляясь, то ускоряясь. Казалось, она не просто раскладывает, а читает какую-то свою, нитяную книгу.

– Это я для новой картины приготовила, – кивнула она на угол, где на кресле лежал свернутый отрез чистой канвы. – Хочу букет Костин вышить и таких птиц вокруг... вроде жар-птиц, только не сказочных, а настоящих. Чтобы перо к перу, и чтоб свет от них шел. Костик говорил: вышивать красоту – это как молиться. Вот я и вышью. Пусть ему светло будет, где бы он ни был.

Она замерла на секунду, сжимая в горсти горку лиловых ниток, и улыбнулась куда-то в сторону окна, за которым уже темнело.

– Он у меня хороший. Всегда все для меня. И ниточки эти... Он же знает, что я без этого не могу. Душа моя просит.

Она снова склонилась над корзинкой, и пальцы ее – жи-

вые, неутомимые – снова зашелестели, перебирая, сортируя, любуясь. А Лилия Олеговна стояла в дверях и думала: вот она, настоящая любовь. Когда тебе привозят не просто еду и лекарства, а нитки. «Кровь дракона». «Утреннюю росу». Чтобы мама могла творить рай в своей маленькой комнате.

Вечером того дня Зося не вышла к ужину.

Лилия Олеговна принесла ей таблетки от давления – она всегда пьет после восьми. В комнате темно, только лампа на тумбочке горит, и свет падает прямо на букет. Цветы стоят в Костиной банке, которую Зося повязала кружевной тесьмой, чтобы красиво было. Вода прозрачная, свежая, ни одного увядшего лепестка.

Зося сидит на кровати, поджав ноги, и не сводит с вазы глаз.

– Зось Ивановна, – позвала тихо медсестра, чтобы не напугать. – Таблетки ваши.

Она даже не обернулась. Только руку протянула, взяла, не глядя. Проглотила. И опять смотрит.

Лилия Олеговна постояла в дверях. Хотела уйти, но что-то держало. Какая-то неправильность в этой тишине. Зося обычно не молчит – она или вышивает, или рассказывает, или шепчет. А тут сидит, как статуя. И смотрит.

– Зось Ивановна, – позвала снова. – Может, лечь пора?

Уже поздно.

Зося повернула голову медленно, будто во сне. Посмотрела куда-то в никуда. Глаза за линзами – большие, темные, странные.

– Не спится, дочка, – сказала тихо. – Иди. Я посижу еще.

А в два часа ночи всех разбудил крик. Не крик даже, а вой. Звериный, страшный, от которого кровь стынет и волосы на затылке шевелятся.

В двадцать пятой мерцал свет, и оттуда доносился вой, переходящий в хрип, и снова вой.

В комнате творилось невообразимое.

Зося стояла посреди комнаты в длинной ночной рубашке и сжимала руками грудь, будто сердце хотело выскочить, а она его удерживала. Лицо белое, как канва, губы дрожат, глаза дикие, расширенные. И кричит, кричит...

Баба Нюра вжалась в стену у двери и крестилась дрожащей рукой. Тетя Рая забилась в угол за шкафом, закрыв голову руками и трясясь мелкой дрожью. Баба Шура, которая глуховата, проснулась от крика и теперь сидела на кровати, прижав одеяло к подбородку, боялась выйти из комнаты. Опять плохие вести.

На тумбочке горела свеча. Самая обычная, церковная, тонкая. Откуда она у Зоси? Свеча горела ровным желтым

огоньком, освещая букет. Цветы стояли все такие же свежие, живые, неземные. И пламя свечи дрожало, отражаясь в перламутровых лепестках. На полу валялись листы из тетрадки в клеточку – смятые, разорванные – и карандаш. На листах вместо прекрасных цветов кривые линии, похожие на детские каракули.

Лилия Олеговна подскочила к Зосе, схватила за плечи:

– Зось Ивановна! Зося! Что случилось? Что с вами?

Зося уставилась на нее, и в глазах ее застыл такой ужас, что медсестра похолодела. Она вцепилась медсестре в руку – пальцы ледяные, дрожат, ногти впиваются в кожу – и закричала, глядя прямо в лицо:

– Это он попросился со мной! Этот букет – поминальный! Поминальный, понимаешь? Он же мне весточку прислал... последнюю!

– Кто? – трясет ее медсестра, пытаясь привести в чувство. – Зося, кто приходил? Здесь никого нет, вы одна!

– Костя! – кричит она, и голос срывается на визг. – Костенька мой! Он здесь был! Я проснулась, а он стоит! Вон там, у окна! Стоит и улыбается! А в руках – эти цветы! И я поняла, я все поняла! Лиля, как же я сразу не поняла? Как сердце мое сразу не почуяло, не разорвалось?

Она снова зашлась криком, завывала, забилась, прижалась к медсестре. Та гладила Зося по спине, а сама смотрела на пустой угол у окна. Там никого не было, конечно. Только занавеска колыбалась от сквозняка.

– Зося, – говорит как можно спокойнее, хотя у самой руки трясутся, – Зося, это сон. Приснилось вам. Костя далеко, он на вахте, он скоро приедет. Помните? Вы сами говорили.

Зося отшатнулась, посмотрела безумными глазами, и вдруг лицо ее исказилось такой болью, что Лилия Олеговна отшатнулась сама.

– Нет, – прошептала она. – Нет, дочка. Не на вахте он. Никакой вахты нет. Я знаю. Я мать. Я сердцем чувствую.

Она вырвалась, подбежала к тумбочке, схватила букет обеими руками, прижала к груди. Свеча качнулась, чуть не погасла, но удержалась.

– Зачем ты мне их прислал? – зашептала она в цветы, прижимаясь щекой к лепесткам. – Зачем, Костенька? Чтоб попрощаться? Чтоб я поняла? Я поняла, сыночек, я все поняла... Только как же я теперь без тебя? Как же?

Она закачалась, стоя посреди комнаты с букетом в обнимку. Цветы вздрагивали, роняли на пол какие-то невидимые пылинки, пахли своим нездешним запахом. А бабушки жалась к стенам, смотрели на нее и боялись дышать.

Баба Нюра первой не выдержала. Она сползла по стене на пол, закрыла лицо руками и заплакала. Тихо, беззвучно – только плечи вздрагивают. За ней всхлипнула тетя Рая. Даже баба Шура, которая ничего не понимала, вдруг закрестилась и забормотала молитву.

– Давайте ляжете. Давайте я чаю горячего принесу. Или валерьянки. – Лилия Олеговна тихонько взяла ее за плечи.

Зося не сопротивлялась. Но букет не отдала. Легла в кровать, прижимая цветы к груди. Губы ее шевелились – беззвучно, быстро, будто она считала без остановки.

Медсестра накрыла ее одеялом. Поправила свечу – пусть горит, если ей так легче. Выключила верхний свет. И вышла в коридор.

Бабушки вышли следом. Баба Нюра тряслась, цеплялась за руку медсестры:

– Что это было? Что с ней? Она сумасшедшая, да? Приступ?

– Тише вы, – цыкнула на них Лилия Олеговна. – Никакая не сумасшедшая. Просто сон страшный приснился. Идите спать.

Они разбрелись по комнатам, оглядываясь и перешептываясь. Только баба Нюра не ушла. Стояла в коридоре, сжимая свой пакет, и смотрела на дверь двадцать пятой.

– А может, не сон? – прошептала она. – Может, правда? Материнское сердце – вещун. Мое тоже чуяло, когда сын... того... А я не поверила. Теперь всю жизнь корю себя.

Ей не ответили. Из-за двери доносилось едва слышное бормотание – Зося шептала, считала, говорила с кем-то. Или с собой. Или с ним.

А за окном занимался рассвет. Серый, холодный, февральский. И неожиданно пошел дождь. Застучал по карнизу, оплакивая горе матери.

Утром у Зоси поднялась температура. Она металась в бре-

ду, звала Костю, просила передать, что она поняла, что она прощает, что она ждет. Ее увезли в ковидное отделение.

Лилия Олеговна смотрела вслед машине и думала: а может, и правда – вещун? Может, материнское сердце и вправду знает то, что не дано остальным?

Через неделю пришел участковый. Оказалось, сын бабы Зоси, Костя, умер. Права была Зося: букет был прощальный.

Костя все продумал. Он долго готовился. Он вообще отличался умением находить порядок в хаосе, знал алгоритм действий и выход из любой ситуации. Всегда. Но в этот раз он превзошел самого себя.

После развода Костя узнал, что болен. За время пандемии ситуация ухудшилась, время упустили. Случай стал неоперабельным. А на руках – восьмидесятилетняя мама, вышивальщица и «шептунья», уже несамостоятельная. Мысль о том, что будет с ней, если он сляжет, была страшнее боли. И Костя все решил.

Он придумал работу вахтами. Пока сам проходил курсы химиотерапии, мама ждала его и проходила тестирование на способность жить одной. Выходило плохо у обоих. Взвесив все, Костя оформил маму в интернат. Квартиру и дачу передал детям в дар, бывшей жене переписал машину.

На дачу он уехал сразу, как только отвез маму. Соседи за-

помнили: приехал один, без жены, без собак. Затопил баньку, протопил дом и пропал. Машина стояла у ворот, дым из трубы шел два дня, а на третий – перестал.

Потом выпал снег. Много, по самые окна.

Нашли его обеспокоенные соседи. Зашли в дом. Хозяина нет. На столе письмо.

На конверте было написано: «Вскрыть 25 января». Позвонили жене. Письмо вскрыли. Внутри – три листа, исписанные мелким аккуратным почерком, и отдельный конверт поменьше, подписанный: «Для участкового и сотрудников морга».

В письме значилось:

«Я, Мотин Константин Сергеевич, сообщаю о своей смерти. Тело находится в дачном доме по адресу: СНТ „Березка“, участок 47, в хозяйственном чулане. Прошу никого не винить. Все документы и денежные средства на погребение – в синей папке на кухонном столе. Порядок действий прилагаю».

Прилагался порядок действий. По пунктам. С номерами телефонов ритуального агента, адресом кладбища, указанием, какой памятник заказан и какая фотография на него должна быть установлена.

Участковый, который приехал на вскрытие, потом рассказывал в интернете медсестрам:

– Тридцать лет работаю, такого не видел. Мужик все расписал. Даже записку оставил: «В чулане аккуратно, не заце-

пите инструмент, там полка с гвоздями – голову берегите, когда входить будете». Представляете? Он о нас, живых, заботился. Уже мертвый – заботился.

– Маме посылки оплачены до июня. Сказать ей, что я уехал на длительную вахту. Нитки для вышивки – в кладовке городской квартиры, три коробки, передавать постепенно, чтоб не догадалась. Сказать, что это я с Севера шлю. Пусть вышивает. Пусть живет.

Участковый тогда отвернулся к окну и долго смотрел на тающие сугробы.

Баба Зося вернулась через три недели.

Все знали, что ее выписывают, но никто не знал, как встречать. Радоваться? Она потеряла сына. Соболезновать? А если она еще не готова говорить? Старушки и санитарка Люба столпились у входа в отделение. Даже баба Шура выползла, опираясь на палку.

Машина остановилась у ворот. Из нее вышла старушка, не похожая на нашу бабу Зою. Наша была маленькая, круглая, быстрая, с горящими глазами и вечными хлопотами. А эта... эта была просто старуха. Высохшая, с желтым землистым лицом, щеки впали, руки висят плетью. И глаза... глаза, которые уже что-то увидели, узнали, чего другим не разглядеть и не познать.

Зося прошла мимо. Молча. Даже не кивнула. Только на секунду остановилась у двери, провела рукой по кумачовому лоскуту с васильками. Погладила. И вошла внутрь.

В комнате двадцать пятой ничего не изменилось. Все те же вышивки на стенах, подушки-думочки с райскими птицами, петухи на стульях, кружева на подоконнике. Букет... букет она, видно, не взяла с собой. Он так и остался стоять в банке, обвязанной кружевом. Только цветы засохли. Со-всем. Но стояли все так же прямо, не роняли лепестки, будто их законсервировали. Странные цветы, нездешние.

Зося села на кровать. Сложила руки на коленях. И замерла.

– Зось Ивановна, – позвала ее Люба тихо. – Может, чаю? Или супчику? Я принесу.

Она подняла на нее глаза. Долго смотрела, будто вспоминала, кто она такая. Потом качнула головой – медленно, чуть заметно.

– Не надо, дочка. Я посижу.

И все.

В коридоре стало тихо. Сначала никто не понял, что изменилось – ведь Зося вернулась, – а потом дошло: не слышно больше Зоси, будто и нет ее. Раньше из двадцать пятой всегда доносилось монотонное мурлыканье, шелест ниток, шорох ткани. Даже если дверь была закрыта, звук просачивался, и в коридоре было... уютно. Живо.

Теперь – тишина. Такая плотная, что уши закладывало.

Вечером баба Нюра приковывляла к Лилии Олеговне, вся трясется:

– Я уснуть не могу. Лежу, слушаю. А там ничего. Пусто. Раньше она бормотала, я под это бормотание и засыпала, как под мамину колыбельную. А теперь тихо. И мне страшно. Иди проверь, живая она там?

Лилия Олеговна заглянула в комнату.

Баба Зося сидела у окна. Та же поза, что и днем, – руки на коленях, спина прямая. Смотрит во двор, на дорогу. И губы ее шевелились.

Она прислушалась. Шепот был – едва слышный, сухой, шелестящий. Но не тот, прежний. Раньше она считала: раз-и-два-и-три-и, с паузами, с остановками, с кивками невидимому собеседнику. А теперь шепот был ровный, непрерывный, монотонный. Как будто она читала вслух длинный список. Или диктовала кому-то инструкцию.

– ...полотенца в шкафу, на третьей полке, – донеслось обрывочно. – Вышитые, новые, не надевала ни разу. Картины на стенах – снять, завернуть в ткань, не мять. Наборы с нитками – в коробку из-под обуви, она под кроватью. Подушки... подушки заберу с собой...

Медсестра замерла в дверях. Она перебирала вещи. Свои вещи. И говорила с кем-то, кого не было в комнате.

– Зось Ивановна, – позвала тихо. – Вы это... с кем разговариваете?

Зося повернула голову. Посмотрела на нее. И улыбнулась.

Впервые за все время. Улыбка была странная – не радостная, нет. Спокойная. Умиротворенная.

– С Костей, дочка. Он спрашивает, что с собой взять. Говорит, скоро уже. Надо подготовиться.

У Лилии Олеговны сердце упало. Она хотела что-то сказать, но слова застряли в горле.

Зося не ждала ответа. Отвернулась к окну и снова зашевелила губами.

Рядом, на тумбочке, так и лежал новый набор для вышивки – последний Костин подарок. Не распечатанный. Даже пленка цела.

А руки... руки дрожали. Чуть-чуть, едва заметно. Они подрагивали в такт шевелящимся губам – раз-два-три, раз-два-три, будто все еще считали крестики. Будто без этого счета остановится сердце.

Лилия Олеговна вышла. Прикрыла дверь. В коридоре было темно и тихо. Только где-то в холле бубнил телевизор – муха о стекло. Да за окном ветер гнул голые ветки и стучал по карнизу.

Из-за двери доносился шепот. Ровный, бесконечный, как молитва.

– ...пальцы взять, самые легкие, деревянные. Нитки все, какие есть, завернуть в бумагу, чтобы не путались. Картину с ангелами... ту, что над кроватью... он всегда ее любил...

Она готовилась. К встрече.

А за окном ветер все гнул ветки, и шторы в комнате Зоси

колыхались, будто кто-то невидимый проходил мимо.

Тихо-тихо.

Только шепот.

И руки, которые больше не вышивают.

Осень отменить нельзя

Суханкин жил в интернате для престарелых и инвалидов почти с самого его открытия. Родители привезли его в конце семидесятых, как только он получил инвалидность. Нет, в то время он еще не был беспомощным больным стариком. Напротив, Николай был молод и полон надежд на новую жизнь.

Всю свою жизнь до интерната Николай Суханкин жил с родителями. Подчинялся и терпел. Ему казалось, что никто в целом мире не способен его понять. Особенно отец. Вечно недовольный Николаем: то поступил не туда, то стал не тем...

Как только отец видел парня с книжкой – заводил свою пластинку:

– Опять стихи? Ну-ну. Работать не пробовал, как люди? Что ты за человек? Я ж вас с братом одинаково воспитывал, почему ты таким стал? Посмотри на младшего брата. Он что, книжек не читает? Читает! Но работает же! Уважаемый человек! А ты? Перед матерью не стыдно? Она пластается каждый день, чтобы тебя, взрослого мужика, кормить да модные тряпки покупать.

А разве Николай виноват, что только в выдуманных мирах ему было спокойно? Работать на даче он не любил. В гараже с отцом не находил себе применения. Торчать в пыльной конторе весь день – тоже оказалось не его.

– Что ты хочешь от меня? – прорывалось у него в ответ. – Чтобы мне плохо стало? Знаешь же, что у меня давление! Думаешь, мне легко? Не страшно? Страшно, папочка, страшно. Упасть вот так – и больше не очнуться. А потом – сны... Тебе снятся сны?

– Даже не начинай! Думаешь, мы с матерью не знаем, что ты притворяешься? Ты бездарь и лентяй, ни на что не способный. И пока не станешь зарабатывать хотя бы себе на портки, разговор у меня с тобой будет коротким.

Отец с брезгливостью отгораживался от сжавшегося, сторбившегося Николая, прятавшего лицо за книгой. В квартире на какое-то время вползала гнетущая тишина. А потом Суханкина начинало трясти, он закатывал глаза и валился в обморок. Мать, склоняясь, целовала сыночка в глазоньки, в колючие щечки с дорожками слез. Отец вздыхал, махал рукой и уходил в гараж.

После очередной стычки с отцом Суханкин долго не мог успокоиться. А тут еще и возлюбленная отказала – грубо, обидно.

Он всю ночь готовил ответную речь. Писал ей длинное письмо, искал оправдательные слова для отца. Потом рвал послание, пил травяную настойку, приготовленную мамой, – и снова переписывал. Шипел на брата, что тот противно храпит, нарушая гармонию и равновесие вокруг него.

Тщательно продуманная нить терялась, слова ускользали. Строчки прыгали. В ушах звенело. Суханкину стало казаться-

ся, что его тихий мир сужается, он начал задыхаться. Мысли путались, давили.

К утру молодой мужчина накрутил себя так, что давление взлетело, превысив все мыслимые значения.

Инсульт. Больница. Инвалидность.

Суханкин восстанавливался быстро. Отец больше не принимал его упреками. Брат переселился из детской, которую они делили с Николаем, на кухню, оставив комнату в распоряжение больного. Суханкин наслаждался покоем и книгами.

Потом мама придумала Коленьку женить.

– Отец, ну подумай, – уговаривала она мужа, – инвалидность он получает, значит, обеспечен, а там и подрабатывать сможет кем-нибудь, хоть сторожем. Женатый мужчина – другие запросы. Так ведь?

– Не-ет, все, что касается Николая, решай с ним сама. Все равно ведь сделаете по-своему, – отмахивался отец. – Зачем спрашиваешь? Мое мнение тебе не понравится.

– Почему?

– Да потому, что никому такой муж не нужен. На что он способен? Какой с него женщине толк?

– Вечно ты так, – вспыхнула мать. – Все должна улаживать сама. Потом не говори, что тебя не спрашивали. А Коля хороший мальчик! У нас все получится.

– Я ж не против. Ради бога, только без меня.

И началась у Суханкина новая жизнь. Теперь по выходным мама накрывала стол и приглашались в гости незамужние знакомые женщины, подруги знакомых и знакомые знакомых.

К встрече с потенциальными невестами Николай тщательно готовился: подбирал наряд, ставил стул ближе к окну, чтобы естественное освещение выгодно оттеняло его благородный профиль, принимал расслабленную позу и с напускной загадочностью лениво вел беседы о поэзии, о новых романах Стругацких, имел наглость их критиковать – чем смущал и разочаровывал милых женщин с первых минут общения.

Ничего не замечающий Суханкин пускался в размышления об идеальной семье, о значимости женщины-музы рядом с думающим мужчиной. Ему нравилось, как его слушают. Он запоминал, как на него смотрят. Каждая новая встреча проходила свободнее предыдущей. Суханкин блистал.

Но претендентки закончились быстро. На встречу вдвоем никто не соглашался. Родители нервничали. Николай хандрил.

В подъезде начался долгожданный ремонт. Стены и полы измазали побелкой, дни напролет маляры подвывали песни Высоцкого. А что им скажешь – люди работают? Но пригласить приличную женщину в такой бардак Николай не решался.

Он ждал целую неделю. Потом стал ходить на прогулки,

но знакомиться с подходящими женщинами на улице у него не получалось. Мама не помогала. Отец начинал сердиться.

– Сколько можно маяться ерундой? – кричал он. – Что ты как профурсетка шляешься по паркам? Взрослый мужик, не можешь найти себе дело? Обрадовался, что на штаны тебе государство денег выделило и работать не нужно? стыдоба одна...

Жизнь не радовала.

Возвращаясь с очередной неудавшейся прогулки, Николай наткнулся на ведра с темно-зеленой масляной краской, приготовленные малярами для покраски панелей.

И понял Суханкин, что его жизнь и есть эта болотная зеленая краска. Беспросветная, тягучая, липкая жижа. Ядовитая плесень.

Дождавшись, пока мастера поднимутся на этаж выше, Николай затащил ведро в квартиру. Выплеснул на паркет, протянул по полу в свою комнату и закатал рукава рубашки. Нашел почти новую широкую кисть в отцовском ящике с инструментами – и принялся за работу.

Николай покрасил в комнате все. Широкими мазками он покрыл зеленью стену с ковром, шкаф с книгами, окно и стол, кресло и кровать с торшером.

Вечером родители застали Николая разгоряченного, одурманенного запахом краски и своей бредовой идеей.

– Все, – сказал отец, отошедший от шока. – Ребенок начал работать. Пора его отселить.

Мать тихо плакала, не понимая, что со всем этим делать и как дальше жить.

Николая отправили в интернат. На семейном совете решили: так будет лучше.

– Коленька, – шептала мать, провожая, – ты не бойся. Там неплохо. И потом, в интернате, наверняка, живут не только старые женщины. У тебя еще все может случиться.

В интернате Суханкину понравилось. Он легко находил компанию, заводил знакомства, вступал в мимолетные отношения. Очень любил женщин с выдающимися формами. Жаждал их, был приставучим до невозможности; когда ему отказывали, Суханкин начинал показно истерить. У него от обиды дрожали губы, наворачивались слезы, он тряс руками, пыхтел, шумно дышал, выбирал глазами удобное место для падения. Если стоял в холле на кафеле – уходил ближе к дивану, затем картинно закатывал глаза и, медленно подгибая ноги, оседал на пол. Извивался, стонал, очень правдоподобно изображал судороги. Когда же к нему подбегали и пытались оказать помощь, он сразу успокаивался, прижимался к груди медсестры и, изображая болезненную измученность, позволял себя сопроводить в кровать. Потом еще долго держал медсестру за руку, не отпуская, и бормотал нелепицу, засыпая.

Такие представления он устраивал часто. Все к ним при-

выкли и старались не реагировать, что вызывало новую волну истерик и изощренного притворства.

В интернате появлялась новенькая – и он тут же переключался. Изобретал варианты подкатов и ухаживаний, менялся внешне. Придумывал себе новый образ и играл в свою игру, пока не наскучивало: красил давно седые волосы, отращивал усы и фигурную бородку – делал все, чтобы заполучить желанную женщину.

Соседи, конечно, шушукались и открыто смеялись над ним, но никто не задавал вопросов, когда Суханкин вдруг выходил из комнаты перламутровым блондином с гладко выбритым лицом и цветным шарфиком, повязанным в открытом вороте рубашки. Или, ухаживая за новой пассией, красился в иссиня-черный цвет, беспрестанно начесывал отросшую бородку, надевал кожаный жилет и молодежато отплясывал на всех дискотеках, громче всех крича в караоке.

К тому времени, когда в интернате появилась Лариса, Суханкин разбил не одно женское сердце и обманул надежды многих стареющих дам.

Незадолго до Ларисиною приезда в интернате случилось событие, которое обсуждали все: Суханкин разводился с Мариной.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.